Б.С. Каганович

ВИТОЛЬД КУЛА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ

В Польше и на Западе Витольд Кула (1916–1988) признан одним из крупнейших историков XX в. В России он известен лишь узкому кругу полонистов и до известной степени аграрным историкам, и она является одной из немногих "цивилизованных стран", в которой не переведены его важнейшие работы[1]. Задача настоящей статьи – обрисовать в главнейших чертах научное творчество и историческое мировоззрение Витольда Кулы. Понять их невозможно вне контекста интеллектуальной и политической истории нашего века, с драматическими перипетиями которой тесно связаны деятельность и судьба этого ученого.

Витольд Кула родился 18 апреля 1916 г. в Варшаве в семье с глубокими демократическими традициями. «Дед моего деда с материнской стороны в конце 1830-х годов приехал в Польшу из Гамбурга. Немец, конечно, не без примеси еврейской крови, – рассказывал В. Кула на заседании в Варшавском университете, посвященном его 60-летию. – Дед моего деда с отцовской стороны работал на барщине... Дед перебрался в Варшаву и всю жизнь занимался изготовлением бочек в броварне Хабербуша и Шиле... Дед с материнской стороны – очаровательный либерал, поклонник Свентоховского и "органической работы", верил в большинство, во всеобщее голосование. К счастью, он умер летом 1932 г., не дожив до января 1933 г., когда в соседней стране на основе всеобщего тайного голосования к власти пришел Гитлер»[2]. Отец будущего историка был членом подпольной организации Польской социалистической партии и три года провел в ссылке в Сибири. По возвращении, не имея возможности получить высшее образование, он работал строительным техником.

«Таким бразом, вырастая в истории, я врастал в историю. От живых еще воспоминаний о "Пролетариате" и апухтинской гимназии[3] ("Когда брат на перемене говорил брату несколько слов по-польски, оба вылетали вон с волчьим билетом", – много раз рассказывала мне бабушка), о 1905 г., о сибирских ссыльных, об эвакуации русских из Варшавы, об уходе немцев», – вспоминал В. Кула[4]. Он учился в варшавской гимназии им. Миколая Рея, известной своей терпимостью и либерализмом, с детских лет увлекался литературой и историей и к окончанию гимназии хорошо знал классиков польской историографии. «Экономическую историю как предмет занятий я выбрал очень рано, еще до окончания школы... Несомненно такой выбор был сделан "против". Против школьной версии истории, истории слащавой, приторной, солидаристской, национа-

© Б.С. Каганович, 1998

листической. Я хотел знать историю крестьян и рабочих, историю сельского хозяйства и промышленности, историю людей скромных и незаметных, трудом, жертвами, страданиями которых была создана Польша» – говорил Кула спустя много лет[5].

По окончании гимназии В. Кула в 1934 г. поступил на историческое отделение Варшавского университета и одновременно на экономический факультет Польского Вольного университета. Из профессоров наибольшее значение для него имели, по-видимому, историк Н. Гонсиоровская и социолог, ученик Э. Дюркгейма, С. Чарновский, принадлежавшие к левым кругам польской интеллигенции. «Больше всего нас интересовал "капитализм" ...Как он возник? Во что обошлось его рождение? Какова наконец его сущность?... – вспоминал В. Кула семинары своих профессоров. – Спор относительно тезисов Допша о переходе от античности к средним векам. Спор по поводу тезисов Пиренна о роли арабских завоеваний... Спор между Вебером и Трельчем о роли протестантизма в генезисе капитализма, спор между Зомбартом, Сэ и Озе о роли евреев в этом генезисе. Спор Гроссмана и Рутковского о социальной структуре герцогства Варшавского. Споры в советской и польской науке о понятии крепостной мануфактуры»[6]. В. Кулу увлекла проблема генезиса капитализма в ее историческом, экономическом и социологическом аспектах, и уже на студенческой скамье он начал изучение польских мануфактур XVIII и XIX вв.

По окончании университета В. Кула преподавал историю в лицее и состоял внештатным ассистентом в Вольном университете. Он также вел занятия по экономике в рабочем университете и говорил впоследствии, что молодые рабочие больше научили его, чем он их. В 1939 г. В. Кула защитил диссертацию по демографии Королевства Польского в первой половине XIX в. Несомненно, что марксизм являлся одним из важных элементов складывающегося тогда научного (и политического) мировоззрения молодого историка, хотя коммунистом он не был.

Годы войны и оккупации В. Кула провел в Варшаве, будучи свидетелем гитлеровского террора и активным участником антифашистского подполья. Он был членом Армии Крайовой и сотрудником ее Бюро информации и пропаганды, преподавал в подпольном университете, участвовал в акциях помощи евреям (в частности, принимал участие в спасении из гетто известного впоследствии историка М. Маловиста).

В первые годы войны В. Кула написал работу, посвященную социологии Общества филоматов, тайной организации польской молодежи в Вильно в 1816–1823 гг., центральной фигурой которой был А. Мицкевич. Это исследование, несомненно выражающее экзистенциальную проблематику автора в то время и выдержанное в несколько ином стиле, чем большинство его позднейших работ, было опубликовано спустя почти полвека[7].

В оккупации В. Кула сблизился с выдающимся польским экономистом Людвиком Ландау, с которым они совместно проводили социологическое и экономико-статистическое изучение населения Варшавы. «Людвик великолепно умел читать газеты: словно жонглер он из нескольких ложных сообщений извлекал истину. Ежедневная работа с ним была на-

стоящим семинаром по экономике, тем более, что каждому рассматриваемому явлению мы старались дать "на выбор" два объяснения: марксистское и кейнсианское (что, между прочим, было не столь легким делом, если вспомнить, что "General Theory" Кейнса вышла в 1936 г.)», – вспоминал Кула[8]. Л. Ландау, убитого нацистами в 1944 г., он считал одним из своих учителей и после войны много сделал для публикации его трудов.

В. Кула был участником Варшавского восстания 1944 г. и после поражения был заключен в немецкий лагерь, где находился до конца войны. «Утром 2 мая 1945 г. в лагерь под Любеком пришла "Lübecker Zeitung" на одной странице в черной рамке с надписью "Unser Führer gefallen" (я храню ее по сей день)», – рассказывал он спустя 30 лет[9]. Вместе с несколькими товарищами он пешком вернулся на родину.

Первые послевоенные годы В. Кула провел в Лодзи, ставшей на некоторое время "культурной столицей" Польши. Он работал в только что открытом Лодзинском университете, где сконцентрировалась значительная часть профессуры, стоявшей в оппозиции к довоенной польской реакции и национализму (Т. Котарбинский, С. и М. Оссовские и др.) По словам его друга историка С. Кеневича, «после войны Кула был энтузиастом "новой веры", убежденный в том, что она открывает огромные возможности для нашей страны, в том числе и для нашей историографии»[10].

В. Кула сотрудничал в "Кузнице", ведущем органе сочувствующей новому строю интеллигенции, собравшему на своих страницах целый ряд блестящих писателей и ученых, большая часть которых через 10–20 лет оказалась в оппозиции к коммунистическому режиму. В одной из первых своих статей в "Кузнице" Кула писал о необходимости широко и по-новому развивать экономическую историю[11]. Для Кулы не было сомнений в том, что социализм должен осуществить идеалы демократии и социальной справедливости[12]. В одной из статей В. Кула выступал против грубых антинемецких публикаций в польской печати, "разительно напоминающих работы гитлеровских ученых"[13]. Статья 1946 г., в которой он с горечью и болью описывал антисемитизм, царящий в польском обществе, и беспомощность в этом отношении прогрессивной интеллигенции, не была опубликована. Цитаты из нее через 40 лет привел в печати сын В. Кулы[14].

Для своей вступительной лекции в Лодзинском университете В. Кула избрал тему "Социальные привилегии и экономический прогресс"[15]. Экономическая история, по его мнению, неотделима от социальной: "Экономическая история без социальной является чем-то недосказанным. Социальная история без экономической непонятна"[16]. В соответствии с этой установкой он рассматривает историко-экономические проблемы в социологическом аспекте. "Согласно нашим понятиям, система разделения общественного дохода является тем более совершенной, чем меньшую роль играют в ней социальные привилегии", – заявлял Кула[17]. Говоря о промышленных революциях в различных странах и их отличиях от классической английской модели, описанной Марксом, он, между прочим, замечал: "Мы видели, наконец уже при нашей жизни, пример промышленной революции, осуществленной к тому же в рекордный срок (две с поло-

виной "пятилетки"), в Советском Союзе за счет прежде всего сокращения потребления населения"[18].

Позднее, в уже цитированном автобиографическом очерке, В. Кула писал о "школе", которой явилась для него "Народная Польша": "Ускоренная урбанизация, ускоренная индустриализация, массовый разрыв социальных связей, массовое социальное продвижение, стократное увеличение социальной мобильности – все, о чем я говорил в своих лекциях о промышленной революции в Англии. Все совершенно иное и, однако, то же самое... Нужно было заново учиться экономике и теории общественного развития, чтобы в их свете по-новому взглянуть на нашу собственную социальную и экономическую историю"[19].

В 1950 г. В. Кула становится профессором и заведующим кафедрой экономической истории Варшавского университета и остается в этой должности более четверти века. Судя по многочисленным отзывам и ряду талантливых учеников, профессором он был блестящим. В. Кула был также одним из первых сотрудников созданного в 1953 г. Института истории Польской Академии наук, в котором он возглавлял Отдел истории Польши второй половины XVIII – первой половины XIX в. Работы В. Кулы первой половины 50-х годов представляли собой попытку дать марксистский синтез становления капитализма в Польше; одновременно он опубликовал большую статью о проблемах исторической демографии старой Польши и проводил архивные исследования, которые послужили основой его последующих работ.

Мы находим подпись В. Кулы под коллективной статьей о значении Сталина для польской исторической науки[20]. Вместе с тем в 1947–1953 гг. В. Кула написал любопытный текст под названием "Чары", опубликованный через пять лет в качестве приложения к его книге "Размышления об истории"[21]. Это фиктивная переписка двух историков, Луция и Клавдия, живущих в эпоху заката античной культуры и торжества христианства. Оба осуждают социальный строй Рима, оба привержены ценностям уходящей цивилизации и независимой мысли, обоих ужасают фанатизм и авторитаризм церкви. Но в то время как один из них (Клавдий) начисто отвергает "новую веру" и все, что она с собой несет, другой (Луций) убеждает себя в том, что созидается новая, более справедливая в своих основах цивилизация, которая обеспечит миллионам обездоленных лучшую жизнь, и поэтому церковь следует поддерживать, подавляя в себе все сомнения и опасения. В конце концов, однако, в силу сложившейся ситуации они неожиданно меняются местами. Диалектика принятия и неприятия, драма сотрудничества и страх оказаться на "обочине истории", черты раздвоенного сознания – все это довольно ярко выразилось в этом тексте, делая его любопытным свидетельством времени. Можно считать Луция рупором автора, но, вероятно, более правильно рассматривать переписку этих двух "римлян" как внутренний диалог интеллигента.

В 1956 г. вышел капитальный труд В. Кулы "Очерки о мануфактурах в Польше в XVIII в.", подводящий итог его 20-летним исследованиям и в известном смысле завершающий первый период его научной деятельно-

сти[22]. В этой книге содержатся монографии более двадцати польских мануфактур XVIII в., написанные на основании огромного архивного материала. Каждое из этих предприятий изучено (по возможности исчерпывающе) с точки зрения характера инвестиций, рабочей силы, организации производства, рынка сбыта, рентабельности и т.д. При этом Кула стремится понять экономическую природу польских мануфактур последнего века Речи Посполитой: каждый из изученных микрокосмов является частью большого целого и, по мнению автора, многократное повторение одного и того же исследовательского эксперимента на разном материале дает возможность получить достаточно надежные результаты.

Понять экономический характер польских мануфактур XVIII в. "означает прежде всего ответить на вопрос: капиталистические они или феодальные? В какой мере капиталистические и в какой мере феодальные? Что в них капиталистического и что феодального?" – замечает В. Кула[23]. Эпоха, изучаемая им, является для него прежде всего временем перехода от феодализма к капитализму, проявляющегося в огромном многообразии форм и явлений. Перед глазами читателя проходят очень разные предприятия – от чисто "феодальных" магнатских мануфактур, призванных обеспечить экономическую изоляцию латифундии, до "капиталистической", казалось бы, промышленности. При этом случалось, что крупнейшие мануфактуры, основанные на вольнонаемном труде, принадлежали магнатам, а работающая на свободный рынок суконная мануфактура в Варшаве использовала принудительный труд заключенных, бродяг и нищих, задержанных полицией.

Большая часть польских мануфактур XVIII в. просуществовала очень недолго (многие из них производили предметы престижного потребления для знати) и закрылась по разным причинам, в том числе из-за нерентабельности. В. Кула, однако, возражает против применения к "феодальным" предприятиям капиталистической калькуляции: они были построены на иных принципах. В позднейших его работах этот тезис будет развит с большой яркостью и убедительностью.

Значительная часть книги В. Кулы посвящена "системе Тизенгауза" и ее краху[24]. А. Тизенгауз, видный государственный деятель времен Станислава-Августа, в 1765–1780 гг. в несколько раз увеличил доход от королевских имений ("экономий") в Литве, заменив оброчную систему барщинной, ориентированной на рынок, в том числе внешний, и организовав на этой же основе ряд мануфактур. Падение Тизенгауза, стремившегося к укреплению польской монархии, было вызвано как экономическими причинами (разорением крестьян), так и политическими: противодействием магнатов и царизма. В Польше XVIII в. ввиду слабости центральной власти отсутствовала политика мануфактурной индустриализации сверху, характерная для просвещенного абсолютизма.

"Очерки о мануфактурах" В. Кулы при всем богатстве собранных в них наблюдений и соображений вращаются в основном в кругу понятий и категорий марксистского "фундаментализма" советской чеканки, представляя, конечно, его наиболее серьезную и научную разновидность.

В 1956–1957 гг. В. Кула, по словам С. Кеневича, "сыграл первостепенную роль в борьбе за преодоление сталинизма в польской историографии"[25]. Резко критикуя вульгаризации, фальсификации и подавление свободы мысли последних лет, Кула вместе с тем предостерегал против возвращения к старой националистической и апологетической историографии и полного перечеркивания марксизма. «Заявление вроде того, что "и среди эндектов[26] были хорошие патриоты" ничего не дают и не имеют ничего общего с марксизмом, – писал он, в частности. – Субъективными патриотами были и Адам Чарторыский, и Станислав Тарновский, в Юзеф Пилсудский»[27]. «Слышны голоса, которые можно резюмировать в словах "Долой иконоборцев! Возвратим кумиры на пьедесталы!", – замечал он в другой статье. – Должны ли мы присоединиться к этим голосам? В минувший период мы могли ставить либералам и сторонникам "органической работы" самое большее "тройку с минусом", а демократам, повстанцам и даже революционным демократам в лучшем случае "четверки". Теперь слышны голоса, что мы должны всем поставить "пятерки"»[28]. Кула отстаивал право историка "пересматривать традиционные ценности"[29].

В 1958 г. вышла книга Витольда Кулы "Размышления об истории"[30]. Это – книга о "ремесле историка", в каком-то смысле сопоставимая с "Апологией истории" Марка Блока. Что такое исторический факт и известен ли нам основной набор исторических фактов? Существуют ли исторические закономерности и как они проявляются? В чем состоит специфика исторического познания? Что представляют собой объективность и субъективность историка? – таковы лишь некоторые проблемы, рассмотренные автором. Он не дает готовых решений и определений и скорее ставит вопросы и очерчивает границы возможных ответов, тщательно взвешивая "за" и "против". "Обаяние истории", "гнет истории", "уроки истории", "суд истории" – все эти вечные темы рассматриваются В. Кулой в свете опыта послевоенных лет, и книга в значительной мере является расчетом со сталинизмом, что придает ей особую остроту и печать времени.

Позиции В. Кулы по основным теоретическим вопросам истории далеки от экстремизма, их можно назвать взвешенными и сдержанными. Так, он скептически относится к чистому идиографизму и неопозитивистским установкам и признает существование определенных исторических закономерностей, но категорически возражает против фаталистического и метафизического их понимания. Признавая многообразие и разнородность цивилизаций, созданных людьми, он не отказывается от перспективы (и в какой-то степени ретроспективы) единого человечества. Он подчеркивает значение для историка современной социологии и психологии, задавленных в сталинскую эпоху.

Социальные классы являются неоспоримым историческим фактом и категория классового интереса – важнейшее средство объяснения истории. Вопрос в том, как понимать эту категорию. "Личность может покончить самоубийством, класс – не может. Личность может действовать вопреки интересам класса, к которому она принадлежит, а весь класс – не может", – полагает Кула[31]. Но он против мифологизации понятия

"класс": "Интересы класса. Да. Но какого поколения класса?... Близорукая политика довольствуется ближайшими результатами, дальнозоркая политика стремится к результатам более отдаленным (но также, впрочем, всегда не очень далеким)"[32]. В пояснение он приводит пример: "Людвик Видершаль[33] говорил в годы оккупации, что действия всех правительств можно предвидеть, за исключением польского эмигрантского правительства, действия которого, будучи иррациональными, не поддаются рациональным предвидениям... В годы оккупации казалось, что действия чешского эмигрантского правительства в аналогичной ситуации были рациональны с его точки зрения. Бенеш вернулся в Прагу, Рачкевич в Варшаву не вернулся. Но позднее труп Яна Масарика был найден на мостовой перед Градчанским дворцом, а Сосновский и Андерс пребывают в добром здравии через десять лет после этого. Своего класса не спасли ни те, ни другие"[34].

Метко и остроумно описывает В. Кула механизмы апологетики и софистической фальсификации в историографии сталинского периода. "Поиск того, что мы назвали платформой идеологического сближения с союзниками (имеются в виду националистически и традиционалистски настроенные слои польского общества. – *Б.К.*) происходил при помощи двух методов: 1) путем принятия традиционных объектов культа с одновременным наделением их несколько иными чертами, односторонним подчеркиванием отдельных моментов и т.д. и 2) при помощи введения новых, далеких от прежней традиции объектов поклонения, которым одновременно приписывались традиционные ценности", – писал он[35] и добавлял: «Области, в которых наша историография под официальным нажимом и вопреки своим апологетическим тенденциям, заняла ревизионистскую позицию, касались прежде всего наших отношений с Россией. Из всех стран народной демократии у одной Польши в ее тысячелетних отношениях с Россией было столько элементов враждебности. В интерпретации этих моментов апологетические тенденции польской историографии должны были уступить апологетическим искажениям советской историографии... Многие в Польше укрепление суверенитета ПНР после 1956 г. хотели бы понимать в том смысле, что теперь мы "суверенны" практиковать такую же апологию всего нашего прошлого, какую в годы культа личности могла осуществлять только советская историография»[36].

В заключительной главе книги Кула писал о вере в Историю и ее законы как о новой религии и заявлял, что никакие "законы" или "уроки" истории не учат тому, что человечеству с фатальной необходимостью предстоит скорая гибель или близкое наступление земного рая. Другими словами, ни гибель капитализма и торжество социализма, ни обратная перспектива не предопределены "законами истории", и ссылки на них являются в устах идеологов самообманом или манипуляцией.

"Размышления об истории" были первой книгой В. Кулы, которая привлекла к себе внимание широких кругов гуманитарной интеллигенции. На нее откликнулся ряд видных польских ученых разных специальностей (Я. Котт, С. Жулкевский, З. Иордан, Б. Леснородский, К. Гжибов-

ский и др.). Во многом она, конечно, являлась характерным продуктом "оттепели", но этим значение книги не исчерпывается. Она представляет собой одно из лучших в научной литературе введений в проблематику истории, написанное с большей искренностью и глубиной.

1960-е годы были самыми продуктивными в жизни Витольда Кулы. Главные его свершения приходятся на этот период. Одна за другой выходят его важнейшие книги.

Первой из этих книг была "Экономическая теория фодального строя: Опыт модели", вышедшая в 1962 г.[37] В. Кула стремится здесь выявить экономический механизм функционирования феодальной системы на материале Речи Посполитой XVI–XVIII вв. Метод его в этой книге противоположен методу "Очерков о мануфактурах". Это не сумма монографий, а "модель", воспроизводящая этот механизм в максимально "чистом" виде, освобожденном от второстепенных и случайных атрибутов.

Докапиталистическая экономика делится, по мнению В. Кулы, частично принимающего и модифицирующего схему английского экономиста У. Льюиса, на два "сектора": натуральный и рыночный. Основой первого является крестьянское хозяйство, основой второго – господское поместье. Функционирование их он рассматривает не по отдельности, как это обычно делалось, но в рамках единой системы. К феодальному хозяйству, доказывает В. Кула, неприложимы методы капиталистической калькуляции. В крестьянском хозяйстве производится необходимый продукт, в господском – прибавочный, продажа которого на рынке должна обеспечить престижное потребление дворянства, а не инвестиции. Крестьянское хозяйство обеспечивает пропитание крестьянской семьи и в принципе не работает на рынок. Крестьянин продает, чтобы платить помещику денежные повинности, а закупки стремится сократить до минимума. На рыночную конъюнктуру крестьянин реагирует противоположным образом, чем этого требуют постулаты буржуазной экономики: когда цены растут, он продает меньше, а когда падают – больше, поскольку его цель – получить определенную сумму[38].

В своем анализе структуры и функционирования докапиталистического ("традиционного") крестьянского хозяйства В. Кула во многом основывается на работах А.В. Чаянова, хотя ему и чужды элементы "крестьянской утопии", которых не лишена чаяновская теория "трудового крестьянского хозяйства". Во всяком случае В. Кула в какой-то степени предварил "чаяновский ренессанс", который начался на Западе в середине 60-х годов[39].

Благоприятная конъюнктура на внешнем рынке в описываемый период (высокие цены на сельскохозяйственные продукты) содействовала консервации системы и тормозила развитие производительных сил, поскольку в плане долгосрочной динамики приводила к сокращению размеров крестьянского хозяйства и укреплению и экономической изоляции крупной собственности. В социальном отношении это означало усиление позиции магнатов, в меньшей мере – среднего дворянства и ухудшение позиций крестьянства.

Одна из центральных и наиболее интересно и убедительно трактованных тем книги – проблема экономической рациональности при феодализме[40]. Кула не согласен с авторами, считающими феодальное хозяйство экономически нерациональным и абсолютизирующими капиталистическую калькуляцию. В различных экономических системах действуют различные критерии рациональности и различные методы калькуляции. Феодальное предприятие, полагает он, в принципе не может быть "просчитано" методами капиталистической кулькуляции[41]. Кроме того, замечает Кула, ни одна система не руководствуется чисто экономическими мотивами, в игру всегда вступают иные моменты. "При капитализме можно вводить технические усовершенствования, но нельзя торговать рабами и использовать их труд, как бы ни было это выгодно. В XVI в. дело часто обстояло обратным образом... При капитализме можно использовать рекламу, явно не соответствующую действительности... и нельзя рекламировать лекарство, исцеляющее от всех болезней. При феодализме такая реклама не встречала никаких препятствий, в то время как ремесленная мастерская не имела права вывесить над входом вывеску, отличающуюся от тех, которые были предписаны для всех предприятий данной отрасли", – пишет В. Кула, иллюстрируя различие экономической ментальности в этих двух системах[42].

"Экономическая теория феодального строя" вызвала оживленную дискуссию сначала в Польше, а затем и на Западе. Критики по большей части приветствовали подход В. Кулы, отмечая, что автор совмещает в одном лице историка и экономиста. Обращалось внимание на сходство "модели" Кулы с "идеальными типами" Макса Вебера[43]. Вместе с тем были высказаны серьезные замечания как по поводу принципов конструирования модели и заложенных в нее элементов, так и относительно границ действенности этой модели в пространстве и времени: даже в Польше такой тип хозяйства характерен только для XVII – первой половины XVIII вв.[44] М. Маловист назвал модель Кулы "моделью гнилого феодализма, моделью упадка"[45].

Через несколько лет после издания в Польше "Экономическая теория..." была переведена на французский (1970), итальянский (1970), испанский (1974), английский (1976), португальский (1979) и венгерский (1985) языки, причем французское и английское издания были снабжены предисловием Ф. Броделя[46]. Ей посвящены десятки статей и рецензий, рассматривающих книгу В. Кулы прежде всего как образец современного марксистского анализа. Вместе с тем отмечалось, что Кула использует современные экономические теории роста и применяет методы маргинального микроэкономического анализа и некоторые западные макроэкономические теории[47]. Крупнейший английский историк-экономист М. Постан назвал работу Кулы "самой умной и независимой трактовкой экономики феодализма из всех, существующих в настоящее время", и предлагал английским читателям не смущаться марксистской репутацией автора: "Кула – марксист своеобразный, совершенно недогматический и готовый отказаться от официальной ортодоксии, если этого требуют фа-

кты и логика"[48]. Феодализм в Польше, резюмирует Постан, сформировался на 400 лет позже, чем на Западе, и особенностью его была зависимость от внешних рынков[49].

Возникает, однако, вопрос, в какой мере систему, описанную Кулой, правомерно называть феодализмом? "Модель " В. Кулы по существу является моделью так называемого "второго издания крепостного права" в Восточной Европе, т.е. работавшего на внешний рынок помещичьего хозяйства, использующего труд крепостных крестьян. Отождествление крепостничества и феодализма утвердилось в советском историографическом каноне, но не принимается большинством крупных специалистов. «Крепостное право – это специфическая форма зависимости и эксплуатации крестьян, которая развилась в условиях растущей товарности сельского хозяйства и укрепляющегося самодержавия (последнее, очевидно, относится к России. – *Б К*). "Второе издание крепостного права" в Восточной Европе в XV–XVIII вв. собственно было первым и единственным в европейской истории», – пишет А.Я. Гуревич[50]. Ф. Бродель, высоко оценивая книгу В. Кулы и неоднократно ссылаясь на нее, тем не менее не считал описанную в ней систему феодализмом[51].

Как нам кажется, присущая В. Куле тенденция употреблять термин "феодализм" в максимально широком смысле слова и называть всякое докапиталистическое, традиционное общество феодальным едва ли оправданна. Но осуществленный им анализ экономики Речи Посполитой XVI–XVIII вв. и методы этого анализа оказались важными и продуктивными для понимания определенного типа традиционных обществ[52], что, несомненно, и определило большой международный успех его книги.

Вслед за "Экономической теорией феодального строя" в 1963 г. вышел фундаментальный труд Витольда Кулы "Проблемы и методы экономической истории", который создавался в течение 20 лет[53].

Экономическую историю В. Кула понимает очень широко, включая в нее историческую демографию, историческую метрологию и историю социальных структур. Он отстаивает право на существование экономической истории как самостоятельной дисциплины, замечая, что, с одной стороны, она вызывала неприязнь традиционной консервативной историографии, с другой – неожиданно оказалась в опале в сталинский период, когда ею занимались все (в том числе историки литературы) и по-настоящему не занимался никто, а экономических историков обвиняли в "механическом материализме" и "недооценке субъективного фактора"[54]. Важнейшим условием успешной работы в этой области является координация деятельности историков и экономистов, для чего, однако, по мнению В. Кулы, первые должны преодолеть свою экономическую безграмотность, а вторые, привыкшие искать "вечные законы хозяйственной деятельности", – неисторический образ мысли[55].

Мы коснемся лишь некоторых из огромного числа проблем, рассмотренных в этой книге. Отличие источников экономической истории от источников традиционной политической истории В. Кула иллюстрирует примером: "Когда мы узнаем, что два государства вели войну, мы хотим

узнать, какое из них победило и какие условия навязало побежденному. Когда мы узнаем из источника, что такой-то шляхтич обанкротился и кредиторы забрали его имущество, для нас это само по себе не имеет никакого научного значения, напротив нам было бы важно знать, сколь частым явлением были банкротства в данный период для данной категории земельной собственности. Индивидуальная фиксация цены в акте купли–продажи для нас не только не интересна, но даже непонятна, пока мы не поместим ее в ряду других, более ранних и более поздних цен"[56]. Впрочем, в полной мере это противопоставление, по словам автора, имеет силу лишь в отношении очень традиционно понимаемой политической истории.

Много внимания В. Кула уделяет проблеме периодизации в экономической истории, и его мысли по этому поводу выходят далеко за пределы этой дисциплины. В подходе к проблеме периодизации, замечает он, «сталкиваются две установки, одну из которых можно назвать "реалистической", а вторую конвенциалистской». Первая исходит из того, что необходимость периодизации и ее критерии заложены в самой изучаемой действительности, для второй периодизация является своего рода необходимым злом, проистекающим из слабости нашей познавательной мысли или педагогических потребностей. . С первой точки зрения только одна периодизация истинна, со второй – всякая периодизация слабо обоснована в научном отношении, и выбор между ними носит прагматический характер"[57]. "Для марксистов периодизация истории является как синтезом исторического познания, так и его инструментом", – утверждает В. Кула[58]. Изучение какой-то части, сегмента действительности невозможно без какого-либо предварительного, пусть даже самого общего и приблизительного знания "целого" и, с другой стороны, исследование модифицирует наше представление о "целом". Можно заметить, что понимаемые таким образом "периоды" Кулы напоминают "идеальные типы" Макса Вебера. В этом смысле В. Кула принимает понятие социально-экономической формации, которое, однако, он хочет лишить метафизического и фаталистического характера: он никогда не говорит о "необходимости" и "закономерности" смены "формаций" и фактически употребляет слово "формация" в значении "социально-экономическая система"[59].

В главе об историческом изучении потребления и уровня жизни В. Кула говорит, в частности, о внеэкономических институтах, ограничивающих в разных культурах свободу выбора потребителя. Он специально останавливается на так называемых "законах о роскоши" времен античности и феодализма. «С социологической точки зрения... – полагает В. Кула, – "законы о роскоши" должны были играть нивелирующую роль в рамках каждого социального слоя и иерархическую в отношениях между слоями»[60]. Ведь помимо законодательства, запрещающего представителям низших классов одеваться и вести образ жизни, подобающие высшему классу, существовало и гораздо менее известное законодательство, запрещавшее одеваться хуже, чем это подобает данному сословию, дабы не позорить его. Другой вопрос, насколько такое законодательство было

эффективным. Хотя нарушения его не подлежат сомнению, Кула полагает, что в определенные периоды оно могло иметь серьезное практическое значение, ставя известные границы, преступать которые решались далеко не все, и создавая таким образом общепринятый стиль поведения.

В главах об исторической статистике и историческом изучении цен и рынка. В Кула, в частности, очень интересно прокомментировал дискуссию 30-х годов во французской науке между А. Озе, с одной стороны, и Э. Лабруссом и М. Блоком, с другой[61]. Крупный специалист по истории раннего нового времени А. Озе с большими сомнениями относился к официальным источникам по истории цен (в частности, к регулярным отчетам о состоянии цен на рынках, составлявшихся администрацией Старого режима, на которых Э. Лабрусс базировал свой капитальный труд 1933 г. "Очерк движения цен и доходов во Франции в XVIII в."). Он указывал на неудовлетворительность статистики в условиях абсолютистского строя и кроме того, по его мнению, средние рыночные цены в оценках интендантов не соответствуют никакой реальности.

"Человек живет не средними величинами и не долговременными колебаниями, – утверждал А. Озе, – и реальное представление о ценах мы получаем из данных о конкретных ценах в конкретных сделках". Поэтому он больше всего ценил источники частного происхождения, а для воссоздания социальных и культурных контекстов рекомендует литературные источники. "Бальзак и Золя, – заявлял он, – лучше, чем любые подсчеты, покажут покупательную силу денег в эпоху Июльской монархии и Второй империи"[62]. Возражавшие Озе Лабрусс и Блок указывали, сколь ограничена сфера применения таких источников. "Историческая статистика не более, чем современная, может претендовать на абсолютную точность, – писал М. Блок. – Но историческая статистика позволяет нам получить действительно важную реальность: шкалу величин и направление изменений"[63].

В. Кула, признавая ценность ряда конкретных критических замечаний Озе, полагал, что здесь мы имеем дело "со спором между традиционными историками, считающими единичный и неповторимый факт единственным предметом исторического познания, и историками социологизирующими"[64]. "Действительно ли человек не живет средними величинами и долговременными колебаниями? В известном смысле он живет и ими, хотя и не отдает себе в этом отчета... Французы конца XVII–начала XVIII в. не знали ни средней продолжительности жизни в их государстве, ни степени естественного прироста. Но разве знание этих, как будто бы абстрактных, величин не имеет значения для нашего знания Франции при Короле-Солнце?"[65].

Разумеется, ценность статистических материалов официального происхождения зависит от характера политического режима. В авторитарных и деспотических режимах, где возможности фальсификации ничем не ограничены, они могут носить совершенно абсурдный характер. О технике изготовления таких материалов хорошее представление дают мемуары наполеоновского министра Шапталя и произведения Салтыкова-

Щедрина, замечает В. Кула[66]. В народе страх перед переписями населения был повсеместным и хорошо обоснованным, поскольку они были связаны с налогами и рекрутскими наборами. Польская шляхта долгое время была враждебна всеобщим переписям населения по другим причинам: как это дворянские головы можно складывать с крестьянскими?[67]

Рассматривая проблемы исторического изучения социальных структур (что, конечно, выходит за рамки экономической истории, как бы широко ее ни понимать), В. Кула намечает программу сотрудничества историков с социологами. «Слабость традиционной науки в области изучения социальных структур заключалась в том, что она ограничивалась ее изучением в исторических категориях ("дворянство", "духовенство", "крестьяне")... Марксистская наука выдвигает постулат перехода от исторических категорий к аналитическим», – замечает он, имея в виду скорее некую идеальную "марксистскую науку", а не реальную[68]. "У Ленина, а еще больше у Сталина начинает превалировать тенденция к жестко дихотомической трактовке классового строения общества", – констатирует историк, объясняя это потребностями политической борьбы и пропаганды[69]. Социальную структуру общества необходимо изучать во всем многообразии и конкретности составляющих его групп и слоев с обязательным учетом их психологии и ментальности. Историк, предпринимающий такое изучение, должен быть знаком с достижениями и методами современной социологии и психологии[70].

Последняя глава книги В. Кулы посвящена "предвидениям, основанным на экономической истории". Восхищаясь богатством и многообразием культур, созданных людьми, и считая задачей историка найти ключи к их пониманию, он, однако, не готов принять теорию замкнутых цивилизационных кругов и отказаться от тезиса о складывающемся единстве человечества и некоторых общих ориентирах его развития. "Это правда, что не всегда и не везде человеческие цивилизации имели ту же иерархию социальных ценностей, что и мы, – замечал Кула. – Но фактом является и то, что почти все человество знает сегодня, что родившийся на свет человек не обязательно должен жить в среднем 25 лет. И поскольку оно знает, что может быть иначе – оно не принимает того, что есть"[71]. Кула ярко описывает "сосуществование анахронизмов" и "равновесие отсталости", в которых оказались страны "третьего мира", но он убежден, что они все равно будут развиваться и будут выходить из отсталости не на путях классического либерализма, хотя и должны усвоить ряд демократических принципов, являющихся необходимым условием экономического развития[72]. Несомненно, эта перспектива 60-х годов оказалась чересчур оптимистической и во многом иллюзорной, что В. Кула и признал впоследствии[73].

"Проблемы и методы экономической истории" нашли широкий отклик в печати, но вызвали меньше споров и дискуссий, чем "Экономическая теория феодального строя". Все рецензенты отмечали огромную ученость автора, широту его кругозора и глубину теоретических интересов. Подчеркивалось, что значение книги выходит далеко за пределы эко-

номической истории: "она представляет собой определенное видение истории" (Б. Геремек)[74], "учит историзму, учит понимать экономику социально, а судьбы человеческих групп диалектически" (Т. Лепковский)[75]. Указывалось, что одна из центральных тем и этой книги В. Кулы "различный смысл экономических явлений в различных системах" (А. Мончак)[76]. Экономист И. Сакс замечал, что книга Кулы "представляет собой очень конкретный вклад в интеграцию гуманитарных наук, которая гораздо чаще постулируется, чем реализуется", что Кула "дает исключительно удачное решение проблемы контакта истории и экономики, внося экономическую культуру в историографию и напоминая адептам нашей дисциплины, экономистам, о необходимости историзировать свои гипотезы"[77]. Философ Б. Бачко подчеркивал "антропологический" и "гуманистический" характер книги В. Кулы: "ее предмет – не цены, не товары, не вещи, а люди", но автор показывает, что "историк, стремящийся понять конкретное, неповторимое, своеобразное в истории, должен прибегать к модельным анализам и заниматься социологией"[78].

Гораздо позже Ц. Бобинская заметила, что «почти каждая глава "Проблем и методов..." содержит определенную теорию: теорию общественного дохода, его разделения и его изучения, теорию исторической статистики, теорию внутреннего рынка докапиталистической эпохи и раннего капитализма, теорию периодизации и т.д.», но эти теории изложены очень сдержанно и нередко вплетены в историографический дискурс[79].

Можно без преувеличения сказать, что "Проблемы и методы экономической истории" В. Кулы по богатству идей и материалов, глубине мысли и манере изложения – одна из лучших работ такого рода в мировой научной литературе. Книга эта переведена на итальянский (1972) и испанский (1973) языки и используется в университетском преподавании этих стран.

Вокруг "Проблем и методов экономической истории" и "Экономической теории феодального строя" возник, как это обычно бывает, целый ряд работ-спутников, в которых развивались, уточнялись и дополнялись положения больших монографий. Таковыми были блестящие статьи В. Кулы, напечатанные на польском, французском, английском и итальянском языках: "Отсталые секторы и регионы в экономике раннего капитализма" (1960), "История и экономика: длительная перспектива" (1960), "Промышленный переворот: история и перспектива" (1963), "К типологии экономических систем" (1968), "Экономическая отсталость в исторической перспективе" (1969), "Поместье и крестьянская семья" (1972), "История, демократия и статистика" (1973), "Деньги в хозяйстве крепостного крестьянина" (1980)[80]. Работы эти представляют собой яркие образцы "экономической антропологии" и изучения "экономической ментальности".

Приведем примеры. По поводу первых "антропологических" опытов М. Годелье В. Кула писал: «Годелье прав, утверждая, что в каждом обществе существует "своя рациональность". Следует добавить, что в каждом обществе существует также свое "расточительство" и что в каждом рас-

точительстве есть своя рациональность... Князь Радзивилл, который на улицах Несвижа разливал вино братьям-шляхтичам, демонстративно пренебрегал тем, что вино льется из бочек и течет по канавам. Этим расточительством он достигал своего: шляхта восхищалась его богатством, убеждалась в его неограниченных возможностях и в конечном счете шла за ним в его политических предприятиях... Таким образом, расточительство было здесь рациональным средством в рамках данной структуры»[81]. "Лендлорд, полуфеодальный землевладелец в отсталых регионах не инвестирует и не имеет для этого оснований... Он калькулирует как феодал, т.е. избегает каких-либо денежных инвестиций в производство... Роскошь не является здесь фанаберией отдельного человека. Она является выражением его социального положения... Если лендлорд инвестирует часть своих доходов, то за пределами региона, а часто даже за пределами страны, где и проводит все больше времени. Если даже он становится капиталистом, – то является им в Лондоне, оставаясь феодалом в Ирландии, становится капиталистом в Вене, оставаясь феодалом в деревне под Краковом. То же повторилось в первой половине XX в. с индийскими махараджами и в наши дни с некоторыми крупными арабскими феодалами"[82]. В нескольких статьях В. Кула очень интересно анализировал роль водки и соли в экономике и обществе Речи Посполитой.

В 60-е годы была написана и последняя большая книга Витольда Кулы "Меры и люди", увидевшая свет в 1970 г.[83] (ее наброски и фрагменты печатались с конца 50-х годов). Это работа по исторической метрологии, рассмотренной, однако, не как традиционная "вспомогательная историческая дисциплина", а под углом зрения "исторической антропологии". Основана она на очень обширных и разнообразных источниках – археологических, иконографических, письменных, фольклорных, мифологических.

Старые меры носили содержательный характер, в то время как современные чисто конвенциональны, полагает В. Кула (метр, например, был определен как одна сорокамиллионная часть меридиана). Ментальность доиндустриальной эпохи не допускала возможности измерения различных предметов одной мерой. Отсюда огромное разнообразие мер. Самые ранние меры – антропометрические. "Человек измеряет мир собой. Это старейшая и всеобщая система", – замечает историк[84]. Единицами измерения являлись части тела человека, его функции и жесты: палец, локоть, стопа, шаг и т.п. Многие предметы, которые мы привыкли измерять на вес, измерялись штучно или мерами объема: сыр – головами, пряжа – мотками, гвозди – дюжинами, яйца – десятками и т.д. Обработанную землю в Европе долгое время измеряли количеством вложенного в нее труда или посеянного зерна. "При геометрическом неравенстве такие меры были однородны в своем социальном и экономическом выражении, – пишет Кула. – Были функциональны"[85]. Старые системы мер были по-своему рациональны, рациональны для тогдашнего общества и ментальности, отвечая потребностям и образу мысли тогдашних людей.

"Отношение современного цивилизованного человека к мерам есть выражение высокоразвитого абстрактно-количественного мышления. Из

всех черт, проявляющихся в различных сочетаниях в каждом предмете, мы абстрагируем одну. В результате самые разнообразные в качественном отношении объекты: человеческий шаг, материал для одежды, дорога в город, высота дерева и т.д. кажутся нам соизмеримыми в одном отношении: в отношении длины", – замечает В. Кула[86]. Современное количественное мышление основано на десятичной системе мер, но эта система не является "естественной", а есть продукт определенной культуры.

С самых давних пор меры являлись выражением и атрибутом власти. В Афинах образцы мер и весов хранились на Акрополе, в Риме – на Капитолии. С весами изображались египетские боги Амон и Осирис. В средневековой иконографии весы – атрибут Архангела на Страшном суде. Являясь формой и атрибутами власти, меры неизбежно оказывались объектом социальной борьбы. В средние века нередки случаи сосуществования епископских, сеньориальных и муниципальных мер. За контроль над мерами боролись светская власть и церковь, сеньоры и города, группы внутри городов. В старой Польше меры в деревне контролировали феодалы. Шляхта одной мерой меряет зерно, полученное от крестьян, и другой, когда продает его купцам. Деревня обвиняла панов в незаконном завышении традиционных мер, чтобы увеличить размер натуральных повинностей. На городском рынке шляхта пыталась навязать малые меры для продуктов, привозимых из деревни на продажу, и более крупные меры для продуктов, закупаемых в городе. В этом случае ее интересы совпадали с интересами крестьян, но вступали в противоречие с интересами горожан и на рынке большого города купец часто навязывал меру шляхтичу[87].

Значительная часть книги посвящена рождению и утверждению метрической системы. "Унификация мер в рамках национального государства есть процесс, параллельный развитию рыночного хозяйства", – пишет В. Кула[88]. По мере того, как рынок становится "национальным" в рамках национального государства, унификация мер ставится на повестку дня Единое государство настоятельно требовало единой системы мер и весов, и абсолютистская монархия пыталась ввести ее, но для радикального разрыва с прошлым и полной ее перестройки на основах новой рациональности потребовалась Французская революция. "Чтобы победил метр, должны были быть исполнены два условия: 1) равенство людей перед законом и 2) отчуждение товара", – замечает историк[89]. Привлекая большой архивный материал, извлеченный из хранилищ Парижа, Женевы, Турина, Милана и ряда французских департаментов, он реконструирует метрологические споры во Франции накануне и во время революции, разработку и проведение в жизнь новой системы. "Унификация мер и весов была немыслима без Декларации прав человека и гражданина и без ночи 4 августа 1789 г " (когда были отменены феодальные права и привилегии), – подчеркивал В. Кула[90] Метрическая система была разнесена по Европе солдатами и префектами Наполеона и постепенно завоевала мир.

В. Кула объявляет себя сторонником метрической системы. «Традиционные меры были во многих отношениях "человечными". Они выражали человека и его труд, нередко зависели от его воли и отношения к

ближнему. Но одновременно традиционные меры открывали широкое поле для злоупотреблений, несправедливости, насилий сильного над слабым. Метр, "обесчеловечивая" меры, делая их независимыми от человека, "объективными" по отношению к нему, морально нейтральными, одновременно делает из орудия человеческой несправедливости средство, облегчающее согласие и сотрудничество между людьми», – таково кредо историка[91]. Очевидно, оно выражало и более общее его отношение к "буржуазной революции" и "буржуазной" эпохе в целом.

"Меры и люди", как справедливо заметил Я. Кохановић, являются "наиболее антропологической книгой В. Кулы"[92]. Здесь он в наибольшей степени приблизился к стилю мышления, связанному с именами М. Мосса и М. Блока. Книга встретила очень хороший прием в Польше, а на Западе ее высоко оценил и пропагандировал Ж. Ле Гофф[93]. Позднее она получила мировую известность, будучи переведена на испанский (1980), французский (1984), английский (1986) и итальянский (1987) языки.

60-е годы были апогеем жизни Витольда Кулы. В это время к нему пришло настоящее большое международное признание. Он много ездит за границу, читает лекции в Париже, Италии, Англии, принимает участие в многочисленных конгрессах и конференциях. В. Кула был одним из инициаторов создания Международной ассоциации экономической истории и в 1968–1970 гг. являлся ее президентом. Особенно тесные отношения сложились у него с парижской группой "Анналов", прежде всего с Ф. Броделем и Э. Лабруссом, проявлявшими живой интерес к его работам. Один из первых в "социалистическом лагере" В. Кула понял значение "Анналов" и способствовал популяризации в Польше их концепций и методов: он написал предисловия к польским изданиям "Апологии истории" М. Блока (1960) и сборнику статей Ф. Броделя "История и длительность" (1969; совместно с Б. Геремеком).

В свою очередь Ф. Бродель необычайно высоко ценил работы В. Кулы, многократно на них ссылался и содействовал изданию их во Франции. Выступая в 1978 г. на симпозиуме, он говорил об "очень крупном польском историке, величайшем из живущих ныне историков (к сожалению, он болен), о Витольде Куле... Витольд Кула, если говорить совершенно искренне, гораздо умнее меня, но его хуже слышат... Французская мысль получает дополнительное измерение, даже если она не заслуживает этого. Если бы Витольд Кула родился в Париже, а я в Кракове, ситуация была бы обратной и распределение ролей гораздо более справедливым"[94]. Не часто доводится слышать такие слова о коллеге из уст ученого.

Работы В. Кулы воспринимались в контексте "марксистского ренессанса" (или, если угодно, "марксистского ревизионизма") 60-х годов, попыток оживить интеллектуальный и гуманистический потенциал марксизма, сделать его эффективным средством познания общества и истории, предпринимавшихся тогда в Западной и Восточной Европе. Крах этих попыток в 1968 г. – в Польше он связан с так называемыми "мартовскими событиями", антисемитской и антиинтеллигентской кампанией,

положившей конец периоду относительного либерализма, – явился для В. Кулы тяжелым ударом. "Март 1968 г., когда подверглись атакам люди, близкие ему лично и идейно, стал новым испытанием", – свидетельствовал после смерти Кулы его ученик Я. Коханович[95].

С этим совпало начало тяжелой болезни. Последние 20 лет жизни В. Кулы прошли в борьбе с этой болезнью, которая все больше ограничивала его деятельность. С этих пор научная производительность Кулы сильно сократилась, хотя почти до самого конца время от времени появлялись в печати его работы.

Наиболее значительной среди работ В. Кулы, увидевших свет в этот последний, трагический период его жизни, было очень своеобразное издание – "Письма эмигрантов из Бразилии и Соединенных Штатов, 1890–1891 гг.", подготовленное им совместно с женой, социологом Ниной Ассородобрай и сыном, историком-латиноамериканистом Марцином Кулой[96]. История этого издания рассказана в предисловии В. Кулы. В годы гитлеровской оккупации он нашел в одном из варшавских архивов большое число писем польских эмигрантов из Америки своим родным, которые как "побуждающие к эмиграции" были задержаны канцелярией варшавского оберполицмейстера. Они служили Куле материалом для занятий со студентами подпольного университета. Основная масса оригиналов сгорела вместе со зданием архива во время Варшавского восстания, сохранились лишь те, которые в тот момент находились у Кулы дома, а также сделанные им и студентами копии и выписки. Теперь все они (более 350) были опубликованы с обширным исследовательским введением и пояснениями.

Подавляющее большинство эмигрантов, о которых идет речь, – крестьяне (довольно значительна также группа еврейских эмигрантов) и письма их дают превосходный материал для понимания крестьянской ментальности и культуры в очень своеобразных условиях. Особенно драматический характер этим письмам придает то, что ни одно из них не дошло до адресата: единственными их читателями оказались царские цензоры и жандармы.

Крестьяне покидали родину из-за обострения аграрного кризиса и парадоксальность ситуации заключалась в том, что люди, "страдавшие от роста капитализма, бежали туда, где капитализма было во много раз больше", – замечает Кула[97]. В польскую деревню, помнившую еще крепостное право, приходят письма из Филадельфии, Нью-Йорка, Питсбурга, Балтиморы, Джерси-Сити. "Переход из феодализма в капитализм длится один месяц"[98]. Оказавшись на другом конце света, оторванный от семьи и соседей, отрезанный от привычной среды и жизненного уклада, человек тоскует по родине. Эмоционально крестьянин первое время еще остается в своей деревне, хочет знать все о корове, свиньях, лошади, урожае, нередко пытается из-за океана управлять хозяйством, дает указания жене, что и где купить и продать.

Но постепенно он втягивается в новую жизнь. Сравнивая то, что было на родине, с увиденным в Америке, он открывает для себя разнород-

ность мира. "У нас улица называется стрита", – сообщает он родным. В Америке по-другому одеваются. В Америке другие болезни, другие обычаи. В Америке можно хорошо зарабатывать, но нужно тяжко работать: "Как евреи у фараона, по 12 часов в сутки". "Здесь ремесленник равен польскому графу". "Я живу, как пан". Конечно, на чужбине человек тянется к своим. Холостые хотят жениться обязательно на польках. Семья беспокоится, можно ли в Америке быть католиком, есть ли там костел. Оказывается, что есть. Но все-таки и католичество за океаном другое[99].

В. Кула обращает внимание еще на один момент: "Эмигранты знают, что они поляки и хотят ими остаться. С радостным облегчением они чувствуют, что в Америке это возможно. Это поразительно! – восклицает историк. – Уже 100 лет, как не существует польское государство, нет польской армии, польской администрации, почти нет польской школы... И поразительно это национальное сознание. Не велеречивое и декларативное, которое тем более громогласно, чем более оно искусственно и фальшиво, но глубокое, неподдельное. Поразительно, что эти крестьяне как нечто самоочевидное рассматривают страну над Вислой как Польшу, свою страну, хотя этой страны уже 100 лет нет на картах мира"[100]. Конфронтация ментальностей и трансформация ментальностей – так, вероятно, можно было бы определить проблематику этого исследования.

"Письма эмигрантов" имели значительный резонанс в польском обществе и науке. Знаменитый писатель Ярослав Ивашкевич назвал эту книгу "важнейшей, как в социологическом, так и в литературном отношении книгой, увидевшей свет в 1973 г.", "великим сокровищем, великим памятником культуры"[101]. Она была переведена на португальский (1977) и английский (1986) языки, что нечасто случается с изданиями такого рода.

Среди других публикаций В. Кулы последнего периода его жизни следует отметить цитированный выше замечательный автобиографический очерк "Мое воспитание чувств"[102] и язвительную пародию на патетически-мессианский подход к польской истории, написанную в начале 70-х годов и опубликованную в 1981 г.[103] Одновременно с усугублением болезни В. Кулы нарастал успех в мире его трудов: большинство переводов его работ вышло в 70–80-е годы. В 1986 г. он был избран действительным членом Польской Академии Наук.

Витольд Кула умер в Варшаве 12 февраля 1988 г.

Значение трудов Витольда Кулы выходит далеко за пределы его прямой специальности. Сам он всегда называл себя экономическим историком, но творчество его никоим образом не вмещается в рамки этой дисциплины. "Он был одним из тех историков, которые рано поняли, что экономическое поведение человека зависит не только от строя, но и от господствующей в данном обществе иерархии ценностей, от ментальности, от обычая, от религии. Оказалось, что экономический историк должен выходить за пределы своей дисциплины, если он хочет как следует заниматься ею", – говорил после смерти В. Кулы его ученик

Е. Едлицкий[104]. "Всегда, в самой, казалось бы, технической работе он был историком культуры", – отмечал Б. Бачко[105]. О "Мерах и людях" Ж. Ле Гофф заметил, что "они трактуют одновременно экономическую историю, социальную историю, историю ментальности и политическую историю и являются прекрасным примером глобальной, интегральной истории"[106].

Говоря об идейных истоках и историографическом контексте творчества В. Кулы, авторы, писавшие о нем, отмечали влияние ряда западных экономических теорий (Дж. М. Кейнса, К. Кларка, С. Кузнеца), но на первом месте называли марксизм и школу "Анналов".

Не подлежит сомнению, что Кула находился в орбите воздействия "анналистской" историографии, окрасившей в большой степени второй период его научного творчества. Но сформировался он в несколько иной школе мысли и работал в несколько ином ключе. Ф. Бродель, Э. Лабрусс и Ж. Ле Гофф рассматривали его как своего союзника, а не как адепта. Отличие Кулы от "Анналов" – если говорить коротко – заключалось в том, что он был тесно связан с марксистской (а не дюркгеймовской) традицией и воспитан в более строгой логической культуре. Последняя, вероятно, была обусловлена доминированием в польской рационалистической мысли неопозитивизма, который придавал огромное значение четкости и точности выражения мысли. Неопозитивистом Кула не стал, но выучка в этой школе[107] позволила ему избежать многих метафор и гипостаз, которые, по мнению ряда историков, затрудняли рецепцию "Анналов" в англо-саксонском мире[108].

Что касается марксизма В. Кулы, то несомненно, что в широком смысле он представлял "открытый" и "гуманистический" марксизм, чуждый доктринерства и далекий от казенной ортодоксии, – и в этом отношении вписывался в "марксистский ренессанс" конца 50–60-х годов. Вместе с тем едва ли правомерно целиком включать Кулу в рамки "антропологического и экзистенциалистского марксизма" тех лет, как это пытался сделать когда-то социолог З. Бауман, усмотревший в "Экономической теории феодального строя" "вызов, брошенный механистической, по существу контовской версии детерминизма в издании Плеханова, Бухарина и Сталина, вызов, духовно родственный тому активистки-вероятностному видению исторического развития, которое, вдохновляясь идеями Маркса, развивали Лабриола, Грамши и Лукач"[109]. Хотя В. Кула, как мы видели, отвергал фаталистическое и механистическое понимание исторических закономерностей, сама профессия экономического историка, работающего с массовыми явлениями и "законами больших чисел", не позволяла ему в полной мере сконцентрироваться на проблемах индивидуального выбора, совести, отчуждения личности и т.д., которыми преимущественно занимался "антропологически-экзистенциалистский марксизм". Имена Лукача и Лабриолы, как кажется, вообще не встречаются в сочинениях Кулы, а Грамши он упоминает только в связи с проблемами итальянского Юга.

В. Кула, несомненно, принадлежал к числу историков с глубокими теоретическими интересами, хотя и не писал трактатов по методологии и не строил историософских концепций; теории его, если можно так вы-

разиться, конкретны и действенны. Следует также отметить, что проявляя большой интерес к крестьянству и народной культуре, Кула был далек от "народничества" и идеализации "традиционного", доиндустриального общества, которые часто лежали в основе такого интереса. После смерти В. Кулы дискутировался вопрос, вмещается ли его видение истории в "линеарно-стадиальную схему", понимаемую, конечно, в очень широком смысле, или же он пришел к признанию многообразия путей развития человечества. По словам Я. Кохановича, "Кула, с одной стороны, подчеркивал ценность разнородности культур, с другой – ценность прогресса"[110]. Вероятно, это и есть наиболее разумная позиция. Не подлежит сомнению существенный сдвиг Кулы с конца 50-х годов в сторону "исторической антропологии". Но историческая антропология не означала для него ни отхода от экономической истории, ни разрыва с марксизмом, как он его понимал.

Думается, что большую роль в успехе работ В. Кулы сыграло то, как они написаны. В них покоряет не только обаяние большого ума, но и живой человеческий голос. При этом, как справедливо было замечено, Кула не изобретал какого-то особого языка и не увлекался "семантическими играми"[111].

В истории науки XX в. творчество Витольда Кулы локализуется в том широком русле "левой историографии", которое включало таких выдающихся историков, как М. Постан, П. Вилар, Э. Хобсбоум, Э. Лабрусе, в известном смысле также и "анналисты" (по крайней мере, их первые два поколения), значительная часть которых испытала сильное и плодотворное влияние марксизма. И хотя за последние два десятилетия научный климат в мире стал гораздо менее "левым", хотя появились новые интересные подходы и методы, – труды и идеи Витольда Кулы в основной своей части остаются живым и ценным достоянием науки (о чем свидетельствует и их большой международный успех именно в эти годы). Более близкое знакомство с ними было бы, как нам кажется, весьма полезно и для российских ученых.

[1] На русский язык переводилась только работа В. Кулы первой половины 50-х годов "Формирование капитализма в Польше" (М., 1959), не дающая представления о том Куле, который получил мировую известность.
[2] *Kula W.* Moja edukacja sentymentalna // Kula W. Wokół historii. W-wa, 1988. S. 451–452.
[3] "Пролетариат" – одна из первых социалистических организаций в Польше; Апухтин – попечитель Варшавского учебного округа при Александре III.
[4] *Kula W.* Wokół historii. S. 453.
[5] Ibid. S. 454.
[6] Ibid. S. 561–562.
[7] *Kula W.* Filomaci: Studium socjologiczne // Kula W. Wokół historii. S. 189–365.
[8] *Kula W.* Wokół historii. S. 458.
[9] Ibid. S. 460.
[10] *Kieniewicz S.* Wspomnienie o Witoldzie // Polityka. 1988. N 12. S. 14.
[11] *Kula W.* Uwagi o historii gospodarczej // Kuznica. 1945. N 10.
[12] Из-за отсутствия в московских библиотеках полного комплекта "Кузницы" мне не удалось ознакомиться со всеми статьями В. Кулы в этом журнале.

[13] *Kula W.* Torem zlych tradycji // Kuznica. 1948. N 7. S. 11.
[14] См.: Dzieje najnowsze. 1987. N 2. S. 112.
[15] *Kula W.* Przywilej spoleczny a postep gospodarczy // Przeglad Socjologiczny. 1947. T. IX. S. 169–204. Цит. по: *Kula W.* Historia, zacofanie, rozwój. W-wa, 1983. S. 22–63.
[16] Ibid. S. 22.
[17] Ibid. S. 25.
[18] Ibid. S. 36.
[19] *Kula W.* Wokół historii. S. 461.
[20] См.: Kwartalnik Historyczny. 1953. N 2.
[21] *Kula W.* Rozważania o historii. W-wa, 1958. S. 225–296.
[22] *Kula W.* Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII wieku. W-wa, 1956. T. 1–2. 870 S.
[23] Ibid. S. 32.
[24] Ibid. S. 309–448.
[25] *Kieniewicz S.* Op. cit.
[26] Националистическая партия в довоенной Польше, находившаяся в оппозиции справа к режиму Пилсудского.
[27] *Kula W.* W sprawie naszej polityki naukowej // Kwartalnik Historyczny, 1956. N 3. S. 158–159.
[28] *Kula W.* Jeszcze o optymizmie i pesymizmie // Kwartalnik Historyczny. 1957. N 4–5. S. 209.
[29] Ibid. S. 215.
[30] *Kula W.* Rożwazania o historii. W-wa, 1958. 300 s.
[31] Ibid. S. 76.
[32] Ibid. S. 81.
[33] Польский историк, друг В. Кулы, убитый в 1944 г. правым подпольем.
[34] Ibid. S. 83.
[35] Ibid. S. 156.
[36] Ibid.
[37] *Kula W.* Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego: Próba modelu. W-wa, 1962. 221 s.; wyd. 2. W-wa, 1983. 272 s. Далее цитируется по 2-му изд. При рассмотрении этой работы В. Кулы и дискуссии вокруг нее нами использована приложенная к этому изданию ценная статья: *Kochanowicz J.* "Teoria ekonomiczna..." w oczach krytyków // Ibid. S. 247–270.
[38] Ibid. S. 55.
[39] В. Кула ссылался на немецкое издание книги Чаянова: *Tschajanoff A.* Die Lehre der bäuerlichen Wirtschaft. B., 1923. Некоторые данные о Чаянове ему сообщил советский историк-экономист В.К. Яцунский, который, вероятно, лично знал Чаянова в 20-е годы. См.: Архив РАН. Ф. 1639. Оп. 1. Д. 509. Л. 7–8 (письма В. Кулы к В.К. Яцунскому).
[40] *Kula W.* Teoria ekonomiczna... S. 182 etc.
[41] Ibid. S. 45–47.
[42] Ibid. S. 186.
[43] Kwartalnik Historyczny. 1964. N 1. S. 90 (Я. Гольдберг).
[44] См., в частности: Kwartalnik Historyczny. 1963. N 3. S. 675–696. В дискуссии приняли участие А. Мончак, И. Сакс, Е. Топольский, М. Маловист, Л. Житкович, Я. Лескевич, Б. Леснодорский, Ц. Бобинская. Ср. обзор начального этапа дискуссии: *Дорошенко В.В.* "Модель" аграрного строя Речи Посполитой XVII–XVIII вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1965. М., 1970. С. 114–129.
[45] Ibid. S. 693.
[46] *Kula W.* Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polonaise 16e–18e siècles. Préface par F. Braudel. P.; The Hague. 1970.
[47] См.: *Kochanowicz J.* Op. cit. S. 252–255.
[48] *Postan M.* The Feudal Economy // New Left Review. 1977. N 103. P. 72.
[49] Ibid. P. 73.
[50] *Гуревич А.Я.* Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. С. 52.
[51] *Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. М., 1988. Т. 2. С. 259–265.
[52] Они используются, в частности, в работах французских историков Г. Буа и М. Эмара.
[53] *Kula W.* Problemy i metody historii gospodarczej. W-wa, 1963. 787 s.
[54] Ibid. S. 80.

[55] Ibid. S. 89.
[56] Ibid. S. 95.
[57] Ibid. S. 173.
[58] Ibid. S. 175.
[59] Ср.: Ibid. S. 188, 304.
[60] Ibid. S. 280–281.
[61] Ibid. S. 350–351, 518–525.
[62] См. в частности: *Hauser H.* Recherches et documents sur l'histoire des prix en France de 1500 á 1800. Paris, 1936. P. 1–84 (Introduction).
[63] *Bloch M.* L'Histoire des prix: Quelques remarques critiques (1939) // Bloch M. Mélanges historiques. P., 1963. T. II. P. 883.
[64] *Kula W.* Problemy i metody... S. 520.
[65] *Kula W.* Historia, zacofanie, rozwój. S. 221.
[66] *Kula W.* Problemy i metody... S. 352. Ср.: *Kula W.* Histoire, démocratie et statistique // Mélanges en honneur de Fernand Braudel. Toulouse, 1971. T. 2. P. 279–288.
[67] *Kula W.* Problemy i metody... S. 348.
[68] Ibid. S. 485.
[69] Ibid. S. 487–488, 499. В. Кула ссылается при этом на работы известного польского социолога С. Оссовского, явившиеся вызовом официальной доктрине.
[70] В 1961–1968 гг. В. Кула возглавлял в Институте истории ПАН созданную по его инициативе группу по изучению социальных структур. Она работала на материале Королевства Польского 1815–1864 гг. и ставила своей задачей изучить превращение сословного общества в классовое.
[71] *Kula W.* Problemy i metody... S. 680.
[72] Ibid. S. 721, 750.
[73] *Kula W.* Historia, zacofanie, rozwój. S. 7.
[74] Argumenty. 1964. N 2. S. 8.
[75] Nowe Drogi. 1963. N 7. S. 119.
[76] Nowe Ksiazki. 1963. N 12. S. 599.
[77] Argumenty. 1964. N 2. S. 7.
[78] Ibid. S. 6.
[79] Historyka. 1990. T. 20. S. 90.
[80] Эти работы собраны в книге: *Kula W.* Historia, zacofanie, rozwój. W-wa, 1983. 327 s. См. также приложение к 2-му изданию "Экономической теории феодального строя".
[81] *Kula W.* Historia, zacofanie, rozwój. S. 271.
[82] Ibid. S. 116. Как известно, во второй половине XX в. некоторые арабские шейхи осуществили на нефтяные деньги модернизацию своих стран. Характер этой модернизации – особый вопрос.
[83] *Kula W.* Miary i ludzie. W-wa, 1970. 668 s.
[84] Ibid. S. 44.
[85] Ibid. S. 64.
[86] Ibid. S. 158.
[87] Ibid. S. 225–275.
[88] Ibid. S. 217.
[89] Ibid. S. 220.
[90] Ibid. S. 506.
[91] Ibid. S. 220. Ср.: S. 601 слл.
[92] *Kochanowicz J.* Witolda Kuli koncepcja historii // Historyka. 1990. T. 20. S. 108.
[93] *Le Goff J.* Pour un autre Moyen Age. P., 1977. P. 13, 70.
[94] *Braudel F.* En guise de conclusion // Review. 1987. Vol. 1. N 3–4. P. 250.
[95] Polityka, 1988. N 8. S. 8.
[96] Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych, 1890–1891 / Oprac. W. Kula, N. Assorodobraj-Kula, M. Kula. W-wa, 1973. 594 s.
[97] Ibid. S. 78.
[98] Ibid. S. 110–111.
[99] Ibid. S. 87 etc.

[100] Ibid. S. 115.
[101] *Iwaszkiewicz J.* Listy emigrantów // Twórczosc. 1975. N 4. S. 84, 88.
[102] *Kula W.* Moja edukacja sentymentalna // Twórczosc. 1976. N 9. S. 98–106.
[103] *Kula W.* Zmartwychwstanie // Nowe Ksiazki. 1981. N 21. S. 12–13.
[104] *Kochanowicz J.* Witolda Kuli koncepcja historii. S. 99–100. К сожалению, мне осталась недоступной книга "Dziedzictwo Witolda Kuli" (W-wa, 1990), в которой собраны доклады, прочитанные на посвященной ему посмертной сессии, и я пользовался изложением этих докладов в указанной статье Я. Кохановича.
[105] *Baczko B.* Odszedl historyk // Kultura. Paryz. 1988. N 4. S. 134.
[106] *Kochanowicz J.* Op. cit. S. 101.
[107] Характерно его сочувственное отношение к попытке А. Малевского пересмотреть тезисы исторического материализма с точки зрения их соответствия критериям научности, отделив метафоры и суждения метафизического характера от гипотез и положений, которые могут стать предметом научной дискуссии. См.: *Kula W.* Problemy i metody historii gospodarczej. S. 373.
[108] *Burke P.* The French Historical Revolution: The "Annales" School 1929–1980. Stanford, 1990. P. 95–96.
[109] Studia Socjologiczne. 1963. N 3. S. 220.
[110] *Kochanowicz J.* Op. cit. S. 100–101.
[111] Historyka. 1990. T. 20. S. 87–88 (Ц. Бобинская).